

Леонид Андреев

# Так было



# Леонид Николаевич Андреев

## Так было

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172388](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172388)  
Красный смех: Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет; М.; 2000  
ISBN 5-04-004476-3*

### Аннотация

«Стояла на площади огромная черна башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмой для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан...»

# Содержание

1	4
2	10
3	16
4	23
5	28
6	33
7	38
8	44

# Леонид Андреев

## Так было

### 1

Стояла на площади огромная черна башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмою для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И думалось о старом, давно умершем и забытом.

На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый человек, которому

было удобно смотреть в лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые колеса и рычаги и широкими плавными взмахами рассекал воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник говорил:

– Так было.

Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:

– Так будет. Так было – так будет. Так было – так будет. Такими словами передавал одноглазый часовщик однообразный и таинственный звук маятника; от близости с большими часами он сделался философом, как тогда говорили.

Над древним городом, где стояла башня, и над всею странюю высоко поднимался один человек, загадочный владыка города и страны, и его таинственная власть – одного над миллионами – была так же стара, как и город. Назывался он королем и прозвище носил «Двадцатый», по числу своих одноименных предшественников, но это ничего не объясняло. Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала этой странной власти, и, насколько хватало человеческой памяти, – в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот же загадочный образ: одного, который пове-

леваются миллионами. Была немая древность, над которой уже не имела власти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста: роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены – и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, который повелевает миллионами. Менялись титулы, имена и прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бессмертным. По тому, что король родился и умирал, как и все, по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, какими он обладал, то легче становилось думать, что он бог. Тем более что и бог всегда изображался похожим на человека, и это не нарушало его совсем особой, непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и мило-сердное. И его законы были не менее повелительны, чем законы самого бога; и еще тем он был велик, что бог никогда не меняет своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далекий или близкий, он всегда сто-

ял над жизнью; рождаясь – человек вместе с природою, городами и книгами находил короля; умирая – с природою, городами и книгами оставлял короля.

История страны, изустная и письменная, являла примеры королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще случалось, что король был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но и тогда оставался он загадочным, одним, который повелевает миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повелевал всеми ненавидящими и проклинаящими, – и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетель и человечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тирания, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило, что творчество и добро бывали не под силу самому могущественному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – этот таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше бывал трон,

чем больше костей клалось в основу его.

И в других соседних странах так же сидели на тронах владыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств исчезал таинственный владыка; но никогда еще не случилось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей; во все времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как из руки самого бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покорявшего воображение, приобретающего мнимое вез-



десущее, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто, бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть.

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи; за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:

– Так было – так будет.

## 2

И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы вос-

стать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!

Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрач-

но: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, подтянутые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.

– Да здравствует Двадцатый!

Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползло по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми и вдруг исчезла, и стало ровно – народ дви-

жется.

– Да здравствует Двадцатый!

За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед, похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и, может быть, это не они.

– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!

Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:

– Это не они! Король бежал!

Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:

– Да здравствует Двадцатый!

Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молит

и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.

– Говори, Двадцатый! Говори!

Станный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:

– Я рад видеть мой добрый народ.

И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад. Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя. Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!

– Рабы!

Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспомина-

ний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.

### 3

Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены она сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползшие со своих тронов, собираются такие же могущественные владыки и при-



водят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в горных чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и, когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатались по опустевшим безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых стен встревоженные, изумленные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то.

Безлюдье, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светились отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружаще-

еся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.

Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:

– Смерть Двадцатому! Смерть!

В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:

– Смерть Двадцатому!

И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, распертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от

усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются – они что-то знают.

– Убийцы!

– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.

Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все

ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взъерошенный хребет опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Однажды, когда он был еще молод, часы испор-

тились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всюю незримою массою. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке; режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

## 4

Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поименного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в народном собрании, и сверху донизу оно наполнялось стоящими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот большой депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги и встал, похожий на высокий высохший пень, поддерживаемый двумя молодыми деревцами.

– Республика принята единогласно, – говорит кто-то звонким голосом, ликование которого он напрасно старается сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади, полной ожидающего народа, поднялся громopodobный, радостный рев – а здесь молчание и тишина, как в церкви, и суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордого почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и бога, этого короля и тирана неба, – уже давно низвергнут и он с своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Старый депутат, у которого много лет старческой дрожью дрожала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким движением руки он отстранил друзей – он

стоит один, – свобода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди, живущие среди бурь мятежа и крови, а теперь они плачут. Жестокие орлиные глаза, спокойно, не мигая смотревшие на кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска свободы – и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и обширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоминает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свободны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячу лет державшего в оковах миллионы, распались черные своды тюрьмы – и ясное небо над головою.

– Свобода! – шепчет кто-то тихо и нежно, как имя возлюбленной.

– Свобода! – говорит кто-то, задыхаясь от безмерной радости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

– Свобода! – звучит железо.

– Свобода! – поют струны.

– Свобода! – грохочет многоголосый океан. Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его безмерной радости и остановилось, и последним биением его было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную таинственную сень он унесет с собой бес-



конечный сон о молодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание свободы облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожным прикосновением рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который крикнул в толпе: «Да здравствует Двадцатый!» – закрутил усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в смертоносных объятиях рассвирепевшего народа. И некоторые уже нахмурились, но другие, большинство, только удивились и с любопытством начали разглядывать крикнувшего, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.

О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Двадцатом и направилась к башне. Черная, она почти сливалась с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близко, сверкнула – и пропала в темном пространстве. До-

вольно низко над землю тепло светились два маленьких оконца: то бодрствовали стражи.

Пробило два часа.

– Знает он или нет? – сказал один из пришедших, тщетно всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомленный голос ответил:

– Он спит, граждане.

– Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо, как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных силуэтов и молча остановились перед пришедшими.

– Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:

– Мы сторожим тирана.

– Вас назначила коммуна?

– Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек.

Было тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два месяца, может быть, больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

– Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сегодня?

– Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.

– Что теперь республика – свобода?

– Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.

– Поцелуемтесь, братья!

Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.

– Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь

смотрим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сейчас не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане: он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он спит.

Силуэты закачались – отодвинулись – пропали, точно ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от левого зубца к городу протянулась такая же темная бесформенная туча. Казалось, что башня растет и протягивает руки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас – что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и беспокойно.

Вправду ли он спит?

## 5

Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощущениях свободы – и снова, как черные жилы в белый мрамор, всюду протянулись темные нити недоверия и страха. С подозрительным спокойствием тиран принял весть о своем низложении – как может быть спокоен человек, лишаемый царства, если только не задумал он чего-то страшного? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования? Низверженный, он продолжает быть страшным; заключенный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, возрастающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажется яркою звездой, если смотреть на нее из глубины синего пространства. Да и вблизи – над его страданиями плачут. Видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаз слезу, слышали оратора, призывавшего к милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч людей, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что завтра же стража не вернется к старому безумию и на коленях не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет трона, разрушенного с таким трудом, с

такую болью!

Ощетинившись от ярости страха, многомиллионный народ прислушивается к речам народного собрания. Станные речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят – о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех, что его нельзя умертвить, потому что он король. Следовательно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честности, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственною властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного: словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые чертоги народного разума, и слепит ясные очи, и душит молодую свободу – молодую невесту в белых цветах, обретшую смерть в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрадываются в сердца, и много рук судорожно нащупывают оружие: лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:

– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и тридцать пять миллионов скотов!

Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бороться, устали желать – и в их утомлении, в их потягиваниях и зевках, в их бесцветных, но магически действующих холодных речах уже чудятся очертания трона. Отдельные возгласы – тусклые речи – и слепое молчание единодушного предательства. Гибнет свобода, бедная невеста в белых цветах, обретшая гибель в час брачного торжества.

Но – чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защищать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам. Трам-трам-трам. Горе предателям!

– Народ просит разрешения пройти перед собранием.

Но разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые лица. Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разноцветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порывистых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспорядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из огады. Мужчины, женщины и дети. Трам-трам-трам.

– Да здравствуют представители народа! Да здравствует свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются. Голова кружится от этого пестрого бесконечно-го движения: как будто стремительная река пробегает в пещере. Все лица становятся похожи на одно; все крики сливаются в один сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на стук дождя по крыше – усыпляющий, парализующий волю, внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские капли.

– Там-там-там.

Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия – и то, откуда народ вливается, и то, откуда он пропадает, – черны, как две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и железом лента продергивается из одной в другую. Утомленные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огромный, распухший, волосатый червяк; тем, кто сидит над дверью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Минутами ясное и необыкновенное живое сознание: так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще не виданной свободы. Свободный народ – какое счастье!

– Трам-трам-трам!

Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца.

С обеих сторон – и с той, откуда народ является, и с той, куда он пропадает, – гремит революционная песня. Слова едва слышны; отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! Идем – идем!

Идут.

Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.



## 6

Настал великий день суда над королем. Таинственная власть, древняя, как мир, должна дать ответ народу, который она поработала тысячи лет, миру, который она позорила, как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских погремушек и золоченого трона, лишенная громких титулов и всех этих странных символов власти – обнаженная, предстанет она перед народом и даст ясный ответ: почему она была властью, что дало ему силу и право повелевать миллионами и, в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, лишать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и не может быть – но пусть перед казнью он откроет свою таинственную душу, пусть ознакомит людей не с делами своими – они всем известны, – но с мыслями и чувствами царей. Мифический дракон, пожиравший девушек и в ужасе державший страну, связан цепями, притащен на городскую площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались в разные стороны войска, заливая площади,

подъезды, одевая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий и церквей, острых, квадратных, странно неопределенных в предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облачное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покрытые копотью и ржавчиной. Точно гравюра в одной из темных зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо двигались стройные массы граждан, превращенных в солдат, с наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Командовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом – точно боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Боялись ли за короля, за его безопасность, или боялись самого короля – этого не знал никто: но все знали, что нужно подготовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у народа.

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пушистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрюмо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло солнце. Счастливое предзнаменование для народа, грозное предостережение тира-

ну.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрывной линии войск двигались вооруженные отряды: один, другой, десятый – нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут, грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И на всем многоверстном пути, и впереди кареты, и сзади, и вокруг нее – тишина. В одном месте на площади раздался неуверенный крик нескольких голосов:

– Смерть Двадцатому!

Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в облаве на кабана твякают только шавки, а не те, кто будет терзать и будет растерзан, накапливая ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколько часов ждут они так медленно ползущего тирана и в возбуждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний – на камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но старые глубокие морщины, точно порубленные топором; жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишённые ресниц – фа-

келы в черных нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире жестокого, печального, призрачно-смутного, перед чем дрогнул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции. Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли, рассеяны по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и мечты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкой в руках ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажется постелькою для детей с тонким пологом от мух и яркого света дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие гору. А эти – взрощенные среди бурь и живые в бурях; любимые дети грозных дней – окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы: мясистых, губчатых сердец, из которых выжимают кровь; могучих, титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох. Покорные только воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти – и сейчас, холодные, как ученые-анатомы, как суды, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суеверцев, разнимут его призрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубокой и черной, как ночное небо; вот громяют, приближаясь, пушки. Смолкают. У входа легкое дви-

жение. Все сидят – они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться равнодушными. Грузный топот распределяемых по зданию отрядов, тихое бряцание оружия. За стенами догромыхивают последние пушки. Железным кольцом облегают они здание, жерлами наружу, навстречу всему миру – западу и востоку, северу и югу.

Вошло что-то маленькое.

С верхних, отдаленных скамей – это толстенный, низенький человечек с быстрыми, но неуверенными движениями. Вблизи – это среднего роста толстяк с большим, побагровевшим от холода носом, обвисшею кожей на щеках, маленькими тусклыми глазками – выразительная смесь добродушия, ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кланяться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная, можно ему сесть или нет. Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и он садится сперва немного, потом больше, потом принимает величественную позу. По-видимому, у него насморк. Торопливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук. Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он готов.

Это и был Двадцатый.

Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а пришел носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и странно, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

– Это я – король, – говорит Двадцатый.

Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались, пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые жесты, и точно спрашивали:

– Хорош?

Депутаты – те были очень серьезны, ужасно серьезные, даже бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но народ тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание? Так же, как проходит вода: он просочился – в высокие окна, в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни оборванных, пестро и фантастических одетых, но чрезвычайно приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата, они спрашивают:

– Я не помешаю вам, гражданин?

Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы, они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то телеграфируют руками вниз, на пло-

щадь. По-видимому, что-то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже бледны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно – и хмуро отворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им противно смотреть на тирана.

– Гражданин депутат! – с веселым ужасом шепчет один из приветливых незнакомцев. – Вы посмотрите, как горят глаза у тирана.

Не поднимая опущенных век:

– Да.

– Как он упился нашей кровью!

– Да.

– Однако вы не из болтливых, гражданин!

Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он не понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ, несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу лучше республика, то пусть республика: он ничего против этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?

– Я их не звал, они сами пришли.

Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха,

уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, что он жесток, – он всегда миловал кого можно было помиловать; неправда, что он разорил государство, – он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских классиков и столярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоченый трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей – горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном? Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо, встречаются два представителя,



ушедших из собрания. Они присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом, почему-то избегая прикосновений. Ходят.

– Но где же тиран? – внезапно вспыхивает один и схватывает другого за плечо. – Скажи мне, где тиран?

– Не знаю. Мне стыдно идти туда.

– Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания? Неужели ничтожные и есть тираны?

– Не знаю. Мне стыдно.

Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду – со стороны собрания, с площади, где толпился народ, – приносился ровный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе получался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана. На стенах забегали красные полосы и пятна – по-видимому, внизу, за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послышался грозный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли караулы. Кого они караулят: неужели этого?

– Его нужно выбросить из страны.

– Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.

– Но ведь это же будет новый обман.

Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего – и нет им конца. Гул на площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.

– Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.

– И отчаяние. И стыд.

– И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!.. Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но погибая, крикнем: «Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы весь мир рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали на стенах, и дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. словно сорвался страшный ветер – с севера и юга, с запада и востока – и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен – вой, – и в хаосе звуков огромными зубчатыми черными линиями выведенное слово:

– Смерть!.. Смерть тирану!

Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались, и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм волны

и грохот обрушивающегося прибора.

– Смерть! Смерть тирану!

Шевельнулись.

– Что же, пойдём туда.

– Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшней день кончит борьбу с тиранией.

Она только еще начинается. Идем!

Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреба, – и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь – и под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная: задыхающиеся без воздуха красные язычки света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч – фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит – это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь топор и палача!

Нет. Бормочет что-то – глупец, трагически-серьезный.

На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах не хватало места для всех желающих, и некоторым так и не пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие дома, с этими странными, черными, шевелящимися волосами вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них похожи были на черные мигающие глаза. За домами торчали в небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные, – но если вглядеться, то некоторые линии у них, поперечные, были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они – смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игрушка, – что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанными ручками. Отдельные люди около эшафота – единственные отдельные люди, которые были видны на всей площади, так как остальное слилось в одну неразрывную, слитную массу, похожую на своеобразный черный газон, – отдельные люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взбирались на какие-то невидимые ступени и суетились. И так странно было, что рядом, на крыше, стоят

с большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и долго ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разбилась на части, расползлась, и по середине остался один маленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло оборванной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одинокая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Должно быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались, разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешающих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка исчезла. Казнят. Трещат барабаны и вдруг сразу, той же хриплой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте, где только что стоял Двадцатый, новая фигурка с протянутой рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной стороны, темное – с другой, как булавочная головка, окрашенная в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то...

...Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и голову: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Про-

никнутый старым рабьим страхом, он все еще не верил, что это могло случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могущественный владыка сложил голову под топором палача, – отчаянно и слепо ломился он к эшафоту: глаза часто обманывают, и слух часто лжет, – нужно пощупать эшафот, нужно вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мягкое, как сверток тряпья, упрямо перекачивается под ногами. Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков, оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слабо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, снова ныряло, выставляя наружу иззубренный конец, и где-то пропадало. Находили лужицу еще не всосавшейся и не растоптанной крови и макали в нее платки, одежду; многие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные значки – кровью короля совершали помазание на новое царство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов кружились, задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул и неодолимый стран-

ный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна и ритмична, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили благодарить собрание за освобождение отечества от тирана, но по дороге увлеклись преследованием какого-то изменника, крикнувшего: «Король умер – да здравствует кроль! Да здравствует Двадцать Первый!» И разбежались. Кого-то повесили.

Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не выдержали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, даже трусы, убили себя. До последней минуты они чего-то ждали, на что-то надеялись и верили в успех своих молитв; а когда казнь совершилась, они впали в отчаяние и – одни угрюмо и тускло, другие яростно, с богохульством – пронизали себя ножами. Были такие, что в дикой жажде мученичества выбежали на улицу, навстречу несущейся лавине народа, и бешено кричали: «Да здравствует Двадцать Первый!» – и погибали.

Кончался день, и подступала к городу ночь – суровая и правдивая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе было еще светло от огней, а река под мостом была черна, как растворенная сажа; и только там, на повороте, где за широкой тупой башней умирал бледный и холодный закат, тускло блестела она холодны-

ми отсветами полированного металла. На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрели в загадочную и темную глубину.

– Ты веришь, что сегодня наступила свобода? – спросил один, спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а река под мостом чернела.

– Посмотри, вон плывет труп, – сказал другой, сказал тихо, потому что труп был близко и смотрел вверх синим пятном широкого лица.

– Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.

– Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются смерти Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, пронесся гул голосов, смеха и песен. Там еще было весело.

– Нужно убить власть, – сказал первый.

– Нужно убить рабов. Власти нет – есть только рабство. Вон еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают? Они так внезапно появляются под мостом.

– Но ведь они любят свободу.

– Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свободу, они станут свободны.

– Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.

И они повернулись, чтобы идти, и тут – когда в городе еще горели огни, а река была черна, как разведен-



ная сажа, они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и светом. Со стороны, противоположной закату, где река терялась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая, подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Поднялось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз, оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало. Было страшно.

– Это туман над рекою, – сказал один.

– Нет, это облако, – сказал другой.

Это было и облако и туман.

– Оно как будто смотрит!

Оно смотрело.

– Оно как будто слышит!

Оно слышало.

– Оно идет сюда!

Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно, огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпуклостях его краснели отблески городских огней, а внизу у его ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копошилась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и пропадали в темноте, и новые безмолвно приходили на их место и, покачиваясь, уходили – бесчисленные, тихо думающие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уносящая

их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля, крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот день он был доволен тишиною башни и даже пел – одноглазый пел! – и до самой темноты любовно прохаживался между колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул и рассмеялся – и хохотом ответил обрадованный маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожеею и хохотал:

– Так было – так будет!

– Ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.

– Так было – так будет!

А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над его головою, навевая странные сны.